
ГЕРЦЕН О ПУШКИНЕ

Я. ЭЛЬСБЕРГ

(ОБЗОР)

Герцен как говорит Ленин, «принадлежал к поколению дворянских, помещичьих революционеров первой половины прошлого века»¹. Сам Герцен гордо ощущал себя преемником героев 14 декабря. В первой книжке «Полярной звезды» (1855 г.) он писал, вспоминая о молебствии, посвященном расправе над декабристами: «Мальчиком четырнадцати лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии и тут перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отмстить за казненных и обрекал себя на борьбу с этим тронном, с этим алтарем, с этими пушками. Я не отмстил: гвардия и трон, алтарь и пушки — все осталось, но через тридцать лет я стою под тем же знаменем, которого не покидал ни разу...»². Естественно, что певец декабристов, великий поэт, связанный с поколением дворянских революционеров общностью идейной среды и интеллектуальных интересов, единством стремлений и чаяний, дружеской любовью, воплощал для Герцена поэтическую и революционную традицию, ставшую ему дорогой на всю жизнь. Так Герцен говорит о Радищеве: «...что бы он ни писал, так и слышишь знакомую струну, которую мы привыкли слышать и в первых стихотворениях Пушкина, и в «Думах» Рылеева, и в собственном нашем сердце»³.

В высказываниях Герцена о Пушкине блестящий анализ публициста и историка революционной мысли и литературы сочетается с лиризмом революционера, юношеские порывы которого были вдохновлены пушкинской поэзией; по отно-

¹ Соч., 3-е изд., XV, стр. 464.

² Соч. под ред. М. К. Лемке, т. VIII, стр. 225.

³ Соч., т. IX, стр. 271.

шению к героям пушкинских поэм Герцен не только читатель; он сам проследживает черты Онегина, как наиболее типического и яркого образа лишнего человека в Бельтове («Кто виноват?»), Трензинском («Записки одного молодого человека»), Анатоле («Долг прежде всего»); больше того — Герцен говорит о себе и своих друзьях, что мы «сами росли в лирических людях», но сумели стать «не лишними»¹; наконец, для Герцена пушкинская поэзия не только воспоминание, но и орудие борьбы с самодержавием. «Полярная звезда» стала, по мысли Герцена, «убежищем всех рукописей, тонущих в императорской цензуре, всех изувеченных ею»², в том числе многих произведений Пушкина, дотоле известных лишь в рукописных списках.

С ранних лет образы Пушкина сопутствуют Герцену в жизни и творчестве. Русский учитель И. Е. Протопопов приносил своему ученику запрещенные стихи великого поэта³. В «Записках одного молодого человека» Герцен вспоминал: «Великий Пушкин явился царем — властителем литературного движения; каждая строка его летала из рук в руки: печатные экземпляры «не удовлетворяли», списки ходили по рукам... Что за восторг, что за восхищение, когда я стал читать только что вышедшую первую главу «Онегина»! Я ее месяца два носил в кармане, вытвердил на память. Потом, года через полтора, я услышал, что Пушкин в Москве. О, боже мой, как пламенно я желал увидеть поэта! Казалось, что я вырасту, поумнею, поглядевши на него. И я увидел, наконец, и все показывали, с восхищением говоря: «вот он, вот он...»⁴.

И много позже, пережив общественную трагедию — поражение революции 1848 года — и семейную драму, повлекшую за собой гибель жены, в глубоком лондонском одиночестве 1853 года, когда деятельность вольной русской печати была еще вся в будущем, Герцен писал М. К. Рейхель: «Пушкиным упиваюсь»⁵.

Образы, мысли, сарказмы Пушкина легко и органически, в виде эпитафий, цитат и упоминаний, вплетаются в ткань художественных и публицистических произведений Герцена, его писем и дневников, служа пламенным обращением, яркой иллюстрацией той или иной герценовской характеристики, ироническим выпадом, лирическим аккомпанементом к собственным раздумьям.

В душном существовании периода новгородской ссылки,

¹ Соч., т. XVII, стр. 97.

² Соч., т. VIII, стр. 171.

³ Соч., т. XII, стр. 57.

⁴ Соч., т. II, стр. 391.

⁵ Соч., т. VII, стр. 223.

задыхаясь в атмосфере произвола и бесправия, Герцен грустно спрашивает себя в своем потаенном дневнике, вспоминая светлую юность:

«Скажи, Фонтан Бахчисарая,
Таков ли был я, расцветая?»

Я с странным чувством обращаюсь иногда назад, далеко назад, к ребячеству. Как богато хотела развернуться душа, и что же вышло? какое-то неудачное существование, переломленное при первом шаге¹.

К Гервегу Герцен, разрывая с ним, обращается со словами старика из пушкинских «Цыган», изгоняющего «гордого человека»: «ты для себя лишь хочешь воли»².

«Да здравствует разум!» — пушкинский возглас из «Вакхической песни» — возглавляет собой, как эпиграф, «Полярную звезду».

Мачеха «корчевской кузины», представляющая собою «полный совершенный тип петербургской институтки», определяется Герценом по пушкинской насмешливой классификации, как «семинарист в желтой шале» («Евгений Онегин», третья глава)³, а пушкинский сарказм — «холоп венчанного солдата» («На А. С. Струдзу») открывает собой в «Былом и думах» отрывок об Аракчееве⁴.

Строки из «Полководца»:

Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою... —

характеризуют политическое положение Маццини в 50-х годах⁵; старость Дашковой встает перед нами в величавых строках «Ж вельможе»⁶:

...Ступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни Екатерины...

В статье «Русский народ и социализм» Герцен, указывая на «три главные струны русской лиры» — «грусть, скептицизм, ирония», говорит: «Когда Пушкин начинает одно из своих лучших творений⁷ этими страшными словами:

¹ Соч., т. III, стр. 33. Герцен, цитируя, переставил в обратном порядке две строки из «Путешествия Онегина».

² Соч., т. VII, стр. 35.

³ Соч., т. VII, стр. 60.

⁴ Соч., т. VIII, стр. 75.

⁵ Соч., т. XV, стр. 170.

⁶ Соч., т. VIII, стр. 475.

⁷ «Моцарт и Сальери».

Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет и выше! Для меня
Так это ясно, как простая гамма, —

не сжимается ли у вас сердце, не угадываете ли вы сквозь это видимое спокойствие разбитое существование человека, уже привыкшего к страданию?»¹ Пушкинскими строками провожает Герцен Бакунина, покидавшего в 1840 г. николаевский Петербург: «Я показал Бакунину на мрачный облик Петербурга и процитировал те великолепные стихи Пушкина, где он, говоря о Петербурге, бросает, будто камни, не связывая их меж собой, отдельные слова:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит»²

Образом Зарецкого Герцен пользуется для того, чтобы пояснить характеристику Курнэ — «лихого человека, бретёра, гуляку и сорви-голову», противника Бартеlemi: «Курнэ принадлежал к особому типу людей, который часто встречается между польскими панями и русскими офицерами, особенно между отставными корнетами, живущими в деревне; к ним принадлежал Денис Давыдов и его «субутыльник» Бурцов, Гагарин — «Адамова голова» и секундант Ленского Зарецкий»³.

Пушкин цитируется и упоминается Герценом в его произведениях и письмах более двухсот раз. Но, конечно, наибольший интерес представляет для нас та характеристика исторической и литературной роли Пушкина, которая возвращена Герценом в его книжке «О развитии революционных идей в России».

Герцен живо чувствовал глубинные, народные корни подлинного большого искусства. Он писал: «Поэт и художник в истинных своих произведениях всегда народен»⁴. «Народная поэзия, — говорит Герцен в другом месте, — вырастает из песен Кириши Данилова в Пушкина»⁵. Пушкин для Герцена — «наиболее полный представитель широты и богатства русской природы»⁶.

Историческая роль Пушкина ярко обрисована Герценом на следующих страницах:

¹ Соч., т. VI, стр. 453.

² Соч., т. VI, стр. 479. Герцен цитирует первые четыре строки стихотворения, не имеющие заглавия (1828 г.).

³ Соч., т. XIV, стр. 232.

⁴ Соч., т. XIII, стр. 29.

⁵ Соч., т. V, стр. 123.

⁶ Соч., т. V, стр. 356.

«Немного ранее того темного царства, которое началось в русской крови и продолжалось в польской, появился великий русский поэт Пушкин, и как только появился, он стал необходим, как будто русская литература не могла без него обойтись. Читали других поэтов, восторгались ими, но Пушкин — в руках каждого образованного русского, который перечитывает его всю жизнь. Поэзия Пушкина уже не проба, не набросок, не упражнение, она — его призвание и стала зрелым искусством; цивилизованная часть русской нации нашла в нем в первый раз дар поэтического слова.

Пушкин, как нельзя болсе, национален и в то же время понятен для иностранцев. Он редко подделывается под народный язык русских песен, он выражает свою мысль такой, какой она возникает у него в уме. Как все великие поэты, он всегда на уровне своего читателя: он растет, становится мрачен, грозен, трагичен; его стих шумит, как море, как лес, волнуемый бурей, но в то же время он ясен, светел, сверкающ, жаждет наслаждений, душевных волнений. Везде русский поэт реален, — в нем нет ничего болезненного, ничего из той преувеличенной психологической патологии, из того абстрактного христианского спиритуализма, которые так часто встречаются у немецких поэтов. Его муза — не бледное существо с расстроенными нервами, закутанное в саван, это — женщина горячая, окруженная ореолом здоровья, слишком богатая истинными чувствами, чтобы искать воображаемых, достаточно несчастная, чтобы не выдумывать несчастья искусственные. Природа Пушкина была пантеистическая, эпикурейская — греческих поэтов, но в его душе был еще и элемент вполне современный. Углубляясь в себя, он находил в недрах души горькую думу Байрона, едкую иронию нашего века.

Некоторые видели в Пушкине подражателя Байрону. Английский поэт, действительно, оказал сильное влияние на русского. Из общения с сильным и симпатичным человеком никогда не выйдешь, не подвергшись его влиянию, не созрев под его лучами. Подтверждение того, что таилось в нашей душе через сочувствие ума, который нам дорог, придает нам вдохновение и новую силу. Но от этого естественного воздействия далеко до подражания. После первых поэм Пушкина, в которых влияние Байрона сильно чувствовалось, он с каждым новым произведением становится все более и более оригинальным. Постоянно полный удивления перед великим английским поэтом, он не был ни его клиентом, ни его паразитом, ни traduttore, ни traditore¹.

К концу своей литературной деятельности Пушкин и Байрон совершенно отдаляются друг от друга, и это по очень

¹ Ни переводчиком, ни предателем его.

простой причине: Байрон был англичанин до глубины души, а Пушкин — до глубины души русский, и русский петербургского периода. Пушкин знал все страдания цивилизованного человека, но у него была вера в будущее, которой человек Запада уже лишился. Байрон, великая свободная личность, человек, уединяющийся в своей независимости и все более и более закутывающийся в свое высокомерие, в свою гордую скептическую философию, становится все более и более мрачным и непримиримым. Он не видел никакого близкого будущего; удрученный горькими думами, исполненный отвращения к свету, он предал свою судьбу народу славяно-эллинских морских разбойников, которых он принимал за греков древнего мира. Пушкин, напротив, все более и более стихает, погружается в изучение русской истории, собирает материалы для монографии Пугачева, создает историческую драму «Борис Годунов» — он обладает инстинктивной верой в будущность России»¹.

В этой характеристике очень существенно подчеркивание Герценом, пережившим после 1848 г. «духовный крах»², впадшим в глубокий пессимизм, исторического оптимизма Пушкина, его веры в русский народ. Протестуя против оценки русского народа, как нации, навеки покорной царизму, Герцен писал: «Неужели вам не приходило в голову, глядя на великороссийского крестьянина, на его умный, развязный вид, на его мужественные красивые черты, на его крепкое сложение, что в нем таится какая-нибудь иная сила, чем одно долготерпение и безответная выносливость? Неужели вам не приходило на мысль, читая Пушкина, Лермонтова, Гоголя, что, кроме официальной, правительственной России, есть другая, что кроме Муравьева, который вешает, есть Муравьевы³, которых вешают?»⁴. В другой статье Герцен еще более резко выразил свою мысль, говоря о той «силе, благодаря которой, несмотря на унижительную дисциплину рабства, русский крестьянин сохранил открытое красивое лицо и живой ум, и которая на императорский приказ ввести цивилизацию ответила, спустя столетие, колоссальным явлением Пушкина; я говорю, наконец, о той силе и той вере в себя, которые волнуют нашу грудь»⁵.

¹ Соч., т. VI, стр. 353—355. «О развитии революционных идей в России» было написано по-французски, и при жизни Герцена русского авторизованного перевода выпущено не было. Перевод, данный в собр. соч. Лемке, очень неточен, местами грубо ошибочен. Мы даем его в исправленном виде.

² Ленин, соч., т. XV, стр. 465.

³ Здесь Герцен имеет в виду декабристов Муравьевых.

⁴ Соч., т. IX, стр. 459.

⁵ Соч., т. V, стр. 342. Следует, конечно, иметь в виду, что цитируемые статьи отдают обильную дань народнической идеализации крестьянства и общины.

Политическое звучание пушкинской поэзии в николаевские годы сжато, но ярко передано следующими словами: «Общество больше и больше падало, литература молчала или делала дальние намеки; только в стенах университета слышалось иногда живое слово и билось горячее сердце.. да время от времени могучая песнь Пушкина, противореча всему, что делалось, будто пророчима, что такая здоровая и широкая грудь много вынесет»¹.

Особенно подробно Герцен останавливается на образе Онегина:

«Те, кто говорят, что поэма Пушкина «Онегин» есть «Дон-Жуан» русских нравов, не понимают ни Байрона, ни Пушкина, ни Англии, ни России: они судят по внешности. «Онегин», это — самое значительное произведение Пушкина, поглотившее половину его жизни. Эта поэма исходит именно из того периода, который нас занимает; она созрела в те грустные годы, которые следовали за 14-м декабря, и можно ли поверить, что подобное произведение, поэтическая автобиография — лишь простое подражание!

Онегин — это ни Гамлет, ни Фауст, ни Манфред, ни Оберман, ни Тренмор, ни Карл Моор; Онегин — это русский; он возможен только в России; в ней он нужен и его встречают на каждом шагу. Онегин — это бездельник, потому что он никогда ничем не занимался, человек лишний в той сфере, в которой находится, и не имеющий достаточной силы характера, чтобы из нее выйти. Это — человек, испытывающий жизнь до самой смерти и который желал бы испробовать смерть, чтобы посмотреть, не лучше ли она жизни. Он все начинал и ничего не доводил до конца, он думал тем больше, чем меньше делал; он в двадцать лет уже стар, а, начиная стареть, молодеет через любовь. Он всегда чего-то ожидал, как мы все, потому что человек не настолько безумен, чтобы верить в продолжительность теперешнего положения в России... Ничто не пришло, а жизнь уходила. Тип Онегина до такой степени национален, что встречается во всех романах и во всех поэмах, которые имели хоть некоторую популярность в России, и не потому, что ему хотели подражать, а потому, что его постоянно находишь возле себя или в себе самом.

Чацкий, герой знаменитой комедии Грибоедова, — это Онегин-резонер, его старший брат.

«Герой нашего времени» Лермонтова — его младший брат. Даже во второстепенных произведениях Онегин появляется, хотя и утрированным или неполным, но узнавае-

¹ Соч., т. XVI, стр. 181.

мым. Если это не он, то, по крайней мере, это его копия. Молодой путешественник в «Тарантасе» графа Соллогуба — ограниченный и дурно воспитанный Онегин. Дело в том, что все мы — более или менее Онегины, если только не предпочитаем быть чиновниками или помещиками.

Цивилизация нас губит, сбивает с пути; это благодаря ей, мы в тягость другим и самим себе, праздные, бесполезные, капризные; это благодаря ей, мы переходим от эксцентричности к кутежу, без сожаления растрачивая наше состояние, наше сердце, нашу юность, в поисках занятий, ощущений, развлечений, как те ахенские собаки у Гейне, которые, как милости, просят у прохожих пинка, чтобы разогнать скуку. Мы всем занимаемся: музыкой, философией, любовью, военным искусством, мистицизмом, чтобы только рассеяться, чтобы забыться от гнетущей нас огромной пустоты.

Цивилизация и рабство, даже без всякого «лоскутка» между ними, который помешал бы, чтобы нас размололо изнутри или снаружи между этими двумя крайностями, настолько сближенными!

Нам дают широкое образование, нам прививают желания, стремления, страдания современного мира и нам кричат: «Оставайтесь рабами, немymi, бездеятельными — или вы погибли». В награду нам оставляют право сдирать шкуру с крестьян и спускать на зеленом сукне или в кабаке взимаемые нами с них подати кровью и слезами.

Юноша не встречает никакого живого интереса в этом мире раболепия и честолюбия. И, однако, в этом-то обществе он осужден жить, так как народ еще более от него отдален. «Этот мир», по крайней мере, состоит из падших существ его же породы, тогда как между ним и народом нет ничего общего...

Рядом с Онегиным Пушкин поставил Владимира Ленского, — другую жертву русской жизни, — Онегина *vice versa*¹. Это — острое страдание рядом со страданием хроническим. Ленский — одна из тех девственных, чистых натур, которые не могут акклиматизироваться в развращенной и безумной среде, которые приняли жизнь, но не могут ничего более принять от нечистой почвы, разве только смерть. «Эти юноши — искупительные жертвы — проходят, молодые, бледные, с печатью рока на челе, как упрек, как раскаянье, и печальная ночь, в которую мы движемся и существуем, становится еще чернее».

¹ Наоборот.

Пушкин изобразил характер Ленского с нежностью, кую человек питает к мечтам своей юности, к воспоминаниям о том времени, когда человек полон надежды, чистоты и неведения. Ленский — последний крик совести Онегина, потому что это он сам, это — идеал его юности. Поэт видел, что такому человеку нечего делать в России, и убил его рукою Онегина, который его любил и, целясь в него, — ранить не хотел. Пушкин сам испугался этого трагического конца: он спешит утешить читателя, изображая ту пошлую жизнь, которая ожидала бы молодого поэта.

Рядом с Пушкиным стоит тоже Ленский: то был Веневи-тинов, чистая поэтическая душа, задушенная в двадцать два года грубыми лапами русской жизни.

Между этими двумя типами, — между самоотверженным энтузиастом и поэтом и, с другой стороны, человеком усталым, ожесточенным, бесполезным, между могилой Ленского и скукой Онегина, — тянется глубокий и мутный поток цивилизованной России с ее аристократами, бюрократами, офицерами, жандармами, великими князьями и императором, с ее низостью, холопством, жестокостью и завистью, увлекающими и поглощающими все. Этот омут, где, — как говорит Пушкин, — «с Вами я — купаюсь, милые друзья»¹.

Тема Онегина и Ленского занимала Герцена многократно. Приведем одну дневниковую запись (1842 г.): «Пушкин в «Онегине» представил отрадное человеческое явление во Владимире Ленском да и расстрелял его, и за дело. Что ему оставалось еще, как не умереть, чтобы остаться благородным, прекрасным явлением? Через десять лет он отучел бы, стал бы умнее, но все был бы Манилов. Да и в самой жизни у нас так. Все выходящее из обыкновенного порядка гибнет: Пушкин, Лермонтов впереди, а потом от А до Z многое множество, оттого что они не дома в мире мертвых душ»².

В «Новой фазе русской литературы» Герцен дает такое уточнение политической позиции Онегиных николаевских годов: Онегин берется за все «исключая, впрочем, двух вещей: во-первых, он никогда не становится на сторону правительства и, во-вторых, он никогда не умеет стать на сторону народа...»³ А в 1859 г. Герцен, несмотря на свои либеральные колебания и недооценку молодого революционно-демократического поколения, должен был признать, что теперь, во второй половине 50-х годов, «Онегин и Печорин

¹ Соч., т. VI, стр. 355—357.

² Соч., т. III, стр. 35.

³ Соч., т. XVII, стр. 227—228

делаются Обломовыми, что лишние люди стали пустыми людьми»¹.

Обзор высказываний Герцена о Пушкине поучителен двояко: мы воочию видим громадную роль пушкинского творчества в формировании характера и мироощущения дворянского революционера, мы видим, как пушкинские образы становятся боевым оружием «писателя, сыгравшего великую роль в подготовке русской революции»², как пушкинская лирика и сатира помогает Герцену бороться с самодержавием и вдохновляет его; а вместе с тем мужественные, нежные и глубокие слова Герцена о Пушкине помогают нам лучше уяснить себе историческое место великого русского поэта.

¹ Соч., т. X, стр. 14.

² Ленин, Соч., т. XV, стр. 464.

Литературная
УЧЕБА

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ОРГАН СОЮЗА
СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ**

СЕДЬМОЙ ГОД ИЗДАНИЯ

2

сентябрь 1951

С